# Литературная исповедь

***Сознаться должен я, что наши хрестоматы
Насчет моих стихов не очень тороваты.
Бывал и я в чести; но ныне век другой:
Наш век был детский век, а этот — деловой.
Но что ни говори, а Плаксин и Галахов,
Браковщики живых и судьи славных прахов,
С оглядкою меня выводят напоказ,
Не расточая мне своих хвалебных фраз.
Не мне о том судить. А может быть, и правы
Они. Быть может, я не дослужился славы
(Как самолюбие мое ни тарабарь)
Попасть в капитул их и в адрес-календарь,
В разряд больших чинов и в круг чернильной знати,
Пониже уголок — и тот мне очень кстати;
Лагарпам наших дней, светилам наших школ
Обязан уступить мой личный произвол.
Но не о том здесь речь: их прав я не нарушу;
Здесь исповедью я хочу очистить душу:
При случае хочу — и с позволенья дам —
Я обнажить себя, как праотец Адам.
Я сроду не искал льстецов и челядинцев,
Академических дипломов и гостинцев,
Журнальных милостынь не добивался я;
Мне не был журналист ни власть, ни судия;
Похвалят ли меня? Тем лучше! Не поспорю.
Бранят ли? Так и быть — я не предамся горю;
Хвалам — я верить рад, на брань — я маловер,
А сам? Я грешен был, и грешен вон из мер.
Когда я молод был и кровь кипела в жилах,
Я тот же кипяток любил искать в чернилах.
Журнальных схваток пыл, тревог журнальных шум,
Как хмелем, подстрекал заносчивый мой ум.
В журнальный цирк не раз, задорный литератор,
На драку выходил, как древний гладиатор.
Я русский человек, я отрасль тех бояр,
Которых удальство питало бойкий жар;
Любил я — как сказал певец финляндки Эды —
Кулачные бои, как их любили деды.
В преданиях живет кулачных битв пора;
Боярин-богатырь, оставив блеск двора
И сняв с себя узду приличий и условий,
Кидался сгоряча, почуя запах крови,
В народную толпу, чтоб испытать в бою
Свой жилистый кулак, и прыть, и мощь свою.
Давно минувших лет дела! Сном баснословным
Угасли вы! И нам, потомкам хладнокровным,
Степенным, чопорным, понять вас мудрено.
И я был, сознаюсь, бойцом кулачным. Но,
«Журналов перешед волнуемое поле,
Стал мене пылок я и жалостлив стал боле».
Почтенной публикой (я должен бы сказать:
Почтеннейшей — но в стих не мог ее загнать) —
Почтенной публикой не очень я забочусь,
Когда с пером в руке за рифмами охочусь.
В самой охоте есть и жизнь, и цель своя
(В Аксакове прочти поэтику ружья).
В самом труде сокрыт источник наслаждений;
Источник бьет, кипит — и полон изменений:
Здесь рвется с крутизны потоком, там, в тени,
Едва журча, змеит игривые струи.
Когда ж источник сей, разлитый по кувшинам,
На потребление идет — конец картинам!
Поэзии уж нет; тут проза целиком!
Поэзию люби в источнике самом.
Взять оптом публику — она свой вес имеет.
Сей вес перетянуть один глупец затеет;
Но раздроби ее, вся важность пропадет.
Кто ж эта публика? Вы, я, он, сей и тот.
Здесь Петр Иванович Бобч\_и\_нский с крестным братом,
Который сам глупец, а смотрит меценатом;
Не кончивший наук уездный ученик,
Какой-нибудь NN, оратор у заик;
Другой вам наизусть всего Хвостова скажет,
Граф Нулин никогда без книжки спать не ляжет
И не прочтет двух строк, чтоб тут же не заснуть;
Известный краснобай: язык — живая ртуть,
Но жаль, что ум всегда на точке замерзанья;
«Фрол Силич», календарь Острожского изданья,
Весь мир ему архив и мумий кабинет;
Событий нет ему свежей, как за сто лет,
Не в тексте ум его ищите вы, а в ссылке;
Минувшего циклоп, он с глазом на затылке.
Другой — что под носом, того не разберет
И смотрит в телескоп всё за сто лет вперед,
Желудочную желчь и свой недуг печальный
Вменив себе в призыв и в признак гениальный;
Иной на всё и всех взирает свысока:
Клеймит и вкривь и вкось задорная рука.
И всё, что любим мы, и всё, что русским свято,
Пред гением с бельмом черно и виновато.
Там причет критиков, пророков и жрецов
Каких-то — невдомек — сороковых годов,
Родоначальников литературной черни,
Которая везде, всплывая в час вечерний,
Когда светилу дня вослед потьма сойдет,
Себя дает нам знать из плесени болот.
Так далее! Их всех я в стих мой не упрячу.
Кто под руку попал, тех внес я наудачу.
Вот вам и публика, вот ваше большинство.
От них опала вам, от них и торжество.
Всё люди с голосом, всё рать передовая,
Которая кричит, безгласных увлекая;
Всё люди на счету, всё общества краса.
В один повальный гул их слившись голоса
Слывут между людьми судом и общим мненьем.
Пред ними рад пребыть я с истинным почтеньем,
Но всё ж, когда пишу, скажите, неужель
В Бобч\_и\_нском, например, иметь себе мне цель?
В угоду ли толпе? Из денег ли писать?
Всё значит в кабалу свободный ум отдать.
И нет прискорбней, нет постыдней этой доли,
Как мысль свою принесть на прихоть чуждой воли,
Как выражать не то, что чувствует душа,
А то, что принесет побольше барыша.
Писателю грешно идти в гостинодворцы
И продавать лицом товар свой! Стихотворцы,
Прозаики должны не бегать за толпой!
Я публику люблю в театре и на балах;
Но в таинствах души, но в тех живых началах,
Из коих льется мысль и чувства благодать,
Я не могу ее посредницей признать;
Надменность ли моя, смиренье ль мне вожатый —
Не знаю; но молве стоустой и крылатой
Я дани не платил и не был ей жрецом.
И я бы мог сказать, хоть не с таким почетом:
«Из колыбели я уж вышел рифмоплетом».
Безвыходно больной, в безвыходном бреду,
От рифмы к рифме я до старости бреду.
Отец мой, светлый ум вольтеровской эпохи,
Не полагал, что все поэты скоморохи;
Но мало он ценил — сказать им не во гнев —
Уменье чувствовать и мыслить нараспев.
Издетства он меня наукам точным прочил,
Не тайно ль голос в нем родительский пророчил,
Что случай — злой колдун, что случай — пестрый шут
Пегас мой запряжет в финансовый хомут
И что у Канкрина в мудреной колеснице
Не пятой буду я, а разве сотой спицей;
Но не могли меня скроить под свой аршин
Ни умный мой отец, ни умный граф Канкрин;
И как над числами я ни корпел со скукой,
Они остались мне тарабарской наукой…
Я не хочу сказать, что чистых муз поборник
Жить должен взаперти, как схимник иль затворник.
Нет, нужно и ему сочувствие людей.
Член общины, и он во всем участник с ней:
Ее труды и скорбь, заботы, упованья —
С любовью братскою, с желаньем врачеванья
Всё на душу свою приемлет верный брат,
Он ношу каждого себе усвоить рад,
И, с сердцем заодно, перо его готово
Всем высказать любви приветливое слово.
И славу любит он, но чуждую сует,
Но славу чистую, в которой пятен нет.
И я желал себе читателей немногих,
И я искал судей сочувственных и строгих;
Пять-шесть их назову — достаточно с меня,
Вот мой ареопаг, вот публика моя.
Житейских радостей я многих не изведал;
Но вместо этих благ, которых бог мне не дал,
Друзьями щедро он меня вознаградил,
И дружбой избранных я горд и счастлив был.
Иных уж не дочтусь: вождей моих не стало;
Но память их жива: они мое зерцало;
Они в трудах моих вторая совесть мне,
И вопрошать ее люблю наедине.
Их тайный приговор мне служит ободреньем
Иль оставляет стих «под сильным подозреньем».
Доволен я собой, и по сердцу мне труд,
Когда сдается мне, что выдержал бы суд
Жуковского; когда надеяться мне можно,
Что Батюшков, его проверив осторожно,
Ему б на выпуск дал свой ценсорский билет;
Что сам бы на него не положил запрет
Счастливый образец изящности афинской,
Мой зорко-сметливый и строгий Боратынский;
Что Пушкин, наконец, гроза плохих писак,
Пожав бы руку мне, сказал: «Вот это так!»
Но, впрочем, сознаюсь, как детям ни мирволю,
Не часто эти дни мне падают на долю;
И восприемникам большой семьи моей
Не смел бы поднести я многих из детей;
Но муза и теперь моя не на безлюдьи,
Не упразднен мой суд, есть и живые судьи,
Которых признаю законность и права,
Пред коими моя повинна голова.
Не выдам их имен нескромным наговором,
Боюсь, что и на них посыплется с укором
Град перекрестного, журнального огня;
Боюсь, что обвинят их злобно за меня
В пристандержательстве моей опальной музы —
Старушки, связанной в классические узы, —
В смешном потворстве ей, в пристрастии слепом
К тому, что век отпел и схоронил живьем.
В литературе я был вольным казаком, —
Талант, ленивый раб, не приращал трудом,
Писал, когда писать в душе слышна потреба,
Не силясь звезд хватать ни с полу и ни с неба,
И не давал себя расколам в кабалу,
И сам не корчил я вождя в своем углу…***